

Тамара Марьяш

Я НЕ ЛЮБЛЮ Ташкент. С этим городом у меня связаны горькие воспоминания. Воспоминания десятилетнего ребенка, оказавшегося в чужом городе с мамой и братом после тяжелой развода родителей. Разлука, потерявший кров, друзей, привычную школу и, наконец, горячо любимого отца. И как логическое завершение разрушения нашей семьи: через два месяца после переезда мы оказались в самом центре чудовищного по своей силе ташкентского землетрясения. Три года мы прожили в Ташкенте, и для меня это были три года одиночества.

Позже, уже после замужества, я несколько раз возвращалась в Ташкент. Чаще всего это были юбилеи Ханум. Юбилеи всегда праздновались с большой помпой. Приезжали известные писатели, артисты, ученые и просто интересные люди. Мы тоже отправлялись в путь всем нашим московским отделением семьи: я, мама с сестрой, тетка с кузинами. Эскапада занимала три-четыре дня и доставляла нам всем большое удовольствие. С первой минуты мы чувствовали себя причастными к славе великой актрисы, к истории культуры и, наконец, к истории нашего тогда еще великого государства.

Люди шептались: «Вот дочери и внучки Ханум». А мы изо всех сил старались соответствовать. На время праздника нам даже доставались свои поклонники. Но праздник кончался, и мы с легкой душой возвращались в Москву, ни о чем не жалея и особенно ни о чем не вспоминая.

В мае 1991 года мне пришлось оказаться в Ташкенте по делам фирмы мужа в составе маленькой делегации: я, муж, партнер мужа Алеша Никоноров и партнер с английской стороны Джим Джонсон. Было решено, что в день отъезда утром я с нашим багажом переберусь из отеля к Ханум. А мужчины приедут к шести вечера, после переговоров, провести остаток дня в ее обществе, познакомиться с домом-музеем и немножечко с ее творчеством. Для меня это была обычная встреча с бабушкой, а для Джима Джонсона часть заготовленной для него культурной программы.

Ханум я застала в столовой за завтраком. Она сидела на своем месте, в торце длинного обеденного стола, в синем бархатном халате, пижамные штаны заправлены в шерстяные носки, ноги обуты в золотые туфли с загнутыми носами. На голове тюрбан, накрученный не то из белого полотенца, не то из платка. Перед ней на столе стояли несколько пиалов. В одной чай, в другой сливки, в третьей использованные после макияжа ватки в помиде и туши, снятые с расчески скрученные волосы. Тут же раскрошенная лепешка, блюдо с какой-то вчерашней непонятной едой.

Увидев меня, она очень спокойно спросила, почему я так рано. «Разве мы не договорились на вечер?» Со стороны можно было подумать, что мы расстались вчера, а не год назад. Спустя несколько минут она уже оживленно расспрашивала меня о московской жизни.

Несмотря на мои неоднократные замужества, в нашей семье у меня имидж единственной женщины, которая знает, как правильно жить, и свои знания успешно применяет на практике.

Может быть, поэтому она обсуждала со мной вновь и вновь сложные, надломленные судьбы женщин нашей семьи: мамы, сестер, тетки. Она мучительно искала ответ, почему эти очень талантливые женщины так и не достигли привычного ей самой блеска.

А быть может, она просто затмила нас, и мы опустили руки и даже не пытались тягаться с ее славой? Да и была бы эта борьба равной? Ведь ее отметил Бог, а нам только дал счастье быть ее дочерьми и внучками.

МАГИЯ АКТРИСЫ

Последняя встреча с Ханум



Тамара Ханум в 1941 году.

Проговорив часа два, она встала и молча ушла к себе. Я сделала несколько телефонных звонков, зашла в ее спальню. Ханум сладко спала — аудиенция окончена.

Я бродила по притихшему дому-музею. Несмотря на множество секретарей, прислуги и просто бедных приживалок, дом всегда был очень зашумлен. Где-то надо было принимать мистера Джонсона. И я остановила свой выбор на садике.

Это было очаровательное место. Крохотный квадратный садик с розами, растущими без всякого порядка, деревьями, плодоносящими по своему усмотрению, и с бассейном розового мрамора с фонтанчиком. Я надела фартук и принялась приводить это чудо в подобие порядка. Посторонний человек никогда бы не сказал, какого цвета мрамор и когда в последний раз стряхивали пыль и листья с подвесного диванчика. Тем временем с базара принесли клубнику, сливки, горячие лепешки. Через два часа мы были готовы к приему, а Ханум спала. Наконец она появилась в садике все в том же обличье. Уселась на подвесной диванчик, трогательно болтая золотыми туфлями. Опять принялась болтать о том, какая я молодец, как все кругом чисто, и что я думаю о Горбачеве, как продвигается бизнес моего мужа, и что, по ее мнению, сотрудничество узбеков с англичанами невозможно, и нам надо забыть все проекты. Время шло. Она, казалось, никуда не торопилась. Я стала проявлять заметное беспокойство и наконец решила спросить: «Ты не хочешь пойти переодеться?» — «Ну что же, да-

вай переоденемся». Она спрыгнула с диванчика и пошла в дом. Секретарь Ханум Шоиста задержалась спросить меня, в чем бы я хотела видеть Ханум, в национальном платье или в европейском? Мне бы хотелось видеть ее элегантной женщиной — великой актрисой. Но беспокойство мое нарастало. Я не слишком доверяла в этом вопросе Шоисте, а Ханум тем более.

На сцене она проживала десятки женских образов, меняя каждые семь минут характер и костюм от заколки до туфель. Об этом много уже написано. Но никто не писал о том, что она была так разнообразна в жизни. В один и тот же день ее можно было увидеть утром гладко причесанной в костюме от Диора, а вечером в платье из розового гипюра. Старинный жемчуг соседствовал с бижутерией из близлежащего магазина «Совитопластика», голова повязана газовым шарфиком, а за ухом живая роза.

В довершение ко всему черная туша легла над городом, и первые капли дождя зашелестели в листьях деревьев. Хрупкое очарование садика, которое я так старательно налаживала весь день, сломалось в одну минуту. Стрелки часов показывали шесть. Я лихорадочно перетаскивала тарелки с угощением в столовую, за дверью спальни Ханум стояла гробовая тишина, а из музея прибежала служительница сообщить, что делегация прибыла.

Я ринулась в музей, который сообщался с квартирой маленьким переходом. У стендов стоял мистер Джонсон с огромным букетом роз. Алеша переводил на

английский таблички в музейных витринах. А я не знала, что делать — то ли забрать у Джима букет, то ли оставить его так дожидаться Ханум. Вдруг все почувствовали ее присутствие и обернулись. Мне стало стыдно, очень стыдно, как я могла усомниться в этой великой женщине? Я не знаю, что заставило ее так одеться. Все близкие ей люди подтвердят — она ненавидела черный цвет.

Перед нами стояла женщина, с царственной осанкой, гладко причесанная, с низким пучком на затылке, в черной юбке до колена, в белой шелковой блузке и в черном атласном кардигане. На ней были ее лучшие украшения и туфли на высоченных каблуках.

В ней было столько королевского достоинства, и, как истинная королева, она не сделала в нашу сторону ни одного движения. Она стояла, улыбалась и ждала. И мы неуверенно двинулись к ней с цветами и приветствиями.

А дальше была столовая, утопающая в цветах. Бронзовые канделябры сверкали хрустальными подвесками. Множество фотографий на стенах отражались в огромном зеркале в бронзовой раме, создавая иллюзию множества зрителей. И Ханум, почуввав в Джиме Джонсоне заинтересованного слушателя, как охотник вся напряжилась и погнала его по своей жизни.

Она то сидела и тихо-тихо рассказывала о тяжелых днях войны, то вдруг вставала и пела на армянском, польском, украинском, еврейском. Потом опять о том, как создавались песни, кос-

тумы. Потом аккомпанировала себе на бубне, показывая разные ритмы. И вдруг испанская «Текьеро».

Мы сидели ошеломленные. Алеша взхлеб переводил и переводил. Я со слезами на глазах пыталась фотографировать. Потом пауза, и знаменитая английская колыбельная. И Джим Джонсон, не помня себя, начинает петь вместе с Ханум. А я сижу с нес естественно прямой спиной, до боли сжав кулаки, чтобы не разреваться, и думаю: «Господи, благодарю тебя, в моих жилах течет ее кровь. Я внучка этой великой женщины, актрисы. Господи, сохрани ее, дай другим увидеть то же, что видим мы».

А за окном бушевала стихия. С грохотом и шипением с небес низвергалась тяжелая вода.

Потом мы, притихшие, сидели в машине по пути в аэропорт. По улицам еще неслись потоки воды. Мужчины, с закатанными брюками, промокшие до нитки, толкали автомобили. Стихия еще бурлила, но в ней уже чувствовалась усталость — усталость и безразличие. Потому что счастье — в проживании феерии, а не в том впечатлении, какое оказывает эта феерия на утомленных зрителей.

А уже первого июля я, мама и сестра летели рейсом Москва—Ташкент хоронить Ханум.

Я знала, что вряд ли когда-нибудь еще полечу в Ташкент. Поэтому, что неминуемо опять почувствую себя обездоленным ребенком.

Я не люблю Ташкент. С этим городом у меня связаны горькие воспоминания.



Узбекский вальс. Ташкент. 1971 год. Фото Г.И. Плюхина